



В. В. РОЗАНОВ

О Константине Леонтьеве

Все-таки — ничего выше поэзии, ничего выше — в смысле точности, яркости контуров очерчиваемого предмета. И вот услышишь художественно вырвавшееся слово — и полетит душа за ним, и тоскует, и вспоминаешь.

По поводу исполнившегося 25-летия со дня смерти Константина Николаевича Леонтьева Московское философско-религиозное общество назначило особое заседание, посвященное этому совершенно при жизни непонятому и непризнанному человеку, и на нем С. Н. Булгаков произнес речь, только недавно напечатанную, и в этой-то речи ему и удалось сказать о Леонтьеве несколько доходящих до глубины сердца слов, которые (я думаю) навсегда будут неотделимы от образа Леонтьева:

«К. Леонтьев заканчивает жизнеописание отца Климента Зедергольма (сын лютеранского пастора, перешедший в православие и умерший монахом в Оптиной Пустыни) следующим волнующим аккордом: “Мне часто приходится теперь зимой, когда я приезжаю в Оптину Пустынь, проходить мимо той дорожки, которая ведет к большому деревянному Распятию маленького скитского кладбища. Дорожка расчищена, но могилы занесены снегом. Вечером на Распятии горит лампадка в красном фонаре, и откуда бы я ни возвращался в поздний час, я издали вижу этот свет в темноте и знаю, что такое там, около этого пунцового, сияющего пятна... Иногда оно кажется кротким, но зато иногда нестерпимо страшным во мраке среди снегов!.. Страшно за себя, за близких, страшно особенно за родину...” В этих словах Леонтьев как-то обнажил душу свою, несколько не утешенную тишиною Оптиной Пустыни, куда он причалил свой корабль под конец жизни, не умиренную ее миром, мятущуюся, неуспокоенную. Древний ужас, *terror antiquus*, сторожит ее и объемлет. Зачем же, откуда, почему этот страх, здесь, в обители веры, у могилы друга? О чем этот надрывный вопль, невзначай вырвавшийся из раненого сердца? “О чем ты воешь, ветер ночной, о чем

ты сетуешь безумно?” Тут чувствуется какое-то откровение о личности, снятие покровов, обнажение тайны: Леонтьев дал нам увидеть свою думу подавленной, трепещущей. Какой-то изначальный и роковой, метафизический и исторический испуг, дребезжащий мотив страха звучит и переливается во всех писаниях Леонтьева: такова его религия, политика, социология. Редко можно у него уловить вдруг сверкнувшую радость, даже простую веселость, но царит туга и напряженность. И замечательно: чем дальше от религии, тем веселее, радостнее. Южным солнцем залиты его великолепные полотна с картинами восточной жизни, а сам он привольно отдается в них влюбленному очарованию, сладострастно впитывая пряную стихию. Но достаточно, чтобы пронеслось дыхание религии, и все темнеет, ложатся черные тени, в душе поселяется страх. *Timor fecit deos*, точнее — *religionem*: именно таково было жизненное исповедание Леонтьева. Два лика: светлый, радостный — природный и темный, испуганный — церковный. Таков был этот своеобразный послушник Оптинского монастыря, в своем роде единственный. Это была вымученная религия, далекая от детской ясности и сердечной простоты. Если во имя веры надо ломать и гнуть естественного человека, то было над чем поработать Леонтьеву, ибо не поскупилась на него природа. Почти суеверное удивление вызывает сила его ума, недоброго, едкого, прожигающего каким-то холодным огнем. Кажется, что уж *слишком* умен Леонтьев, что и сам он отравляется терпкостью и язвительностью своего ума. Словно железными зубцами впивается его мысль в предмет, размельчает его и проглатывает. Он полон не эросом, но антиэросом, являясь беспощадным разоблачителем иллюзий. Это он рассеял сладкую грезу панславизма и балканского единения, когда все ею были охвачены. Лучше и беспощаднее Герцена умел он увидеть в лице Европы черты торжествующего мещанства, хотя знал ее несравненно меньше его; да и вообще Леонтьев образован был недостаточно и знал мало сравнительно с тем, чего требовала сила его ума. Быть может, причина этого, помимо жизненных обстоятельств, и в том еще, что он был слишком горд своим умом, чтобы подвергать себя научной тренировке. Поэтому Леонтьев остался неотшлифованным самородком. Он обладал наряду с умом еще каким-то особым внутренним историческим чувством. Он явственно слышал приближение европейской катастрофы, предвидел неизбежное самовозгорание мещанской цивилизации. Здесь он настолько является нашим современником, что можно себе ясно представить, с каким задыхающимся восторгом, недобрый и почти демоническим, он зрел теперь пожар ненавистного старого мира... Другую стихию Леонтьева составляет палящая языческая его чувственность, с каковою он был влюблен в мир форм, безотносительно к их моральной ценности...»¹

Все это и дальше вся статья С. Н. Булгакова, выдающегося теперь московского славянофила, — с самым небольшим «оста-

точным хвостом» марксизма и вообще экономизма в себе — превосходна, верна и не должна забыться в длинном ряде оценок Леонтьева, сделанных многими выдающимися умами России, — сделанных и так, и этак, но всегда с удивлением перед его огромным умом, вернее, перед его огромной душой. Булгаков верно в конце статьи замечает, что Леонтьев весь вылился «в свой стиль», что и лицу его, и биографии, и писательской деятельности «удалось найти свой особый и единственный, исключительный стиль».

Это вполне верно и очень многозначительно. Хотя он в общем и отдельном очерке и принадлежит к славянофилам, но он не уместается в схему славянофильства, превосходя ее, будучи шире ее, нося в себе и в кругозоре своем, а особенно в душе своей, какие-то новые и совершенно бесконечные дали... Западником он уже окончательно не был, хотя и то надо сказать: он был страстным западником до европейского XIX века, точнее, до эпохи французской революции. После чего встал на Европу положительно «с опаленными крыльями», как некий демон ее, как проклинатель ее. Большого проклинания, чем у Леонтьева, Европа XIX века, Европа революции, конституции и пиджака ни от кого не слыхала, — ни от французов, Жозефа де Местра и Бональда², ни от разной немецкой мелочи, ни от русских славянофилов старой фазы. Те отрицали Европу, Леонтьев проклинал и презирал, и до того сознательно, до того идейно, как именно «некий демон»... Булгаков опять верно называет его в одном месте «буревестником», и это не бедный, не скудный «буревестник» Максима Горького, который вещал грозу всего на 24 часа завтрашнего дня, с полным и ясным днем, с миром и благовестием на все следующие дни, на целый год, на целую вечность... Возле Леонтьева все эти «буревестники» революции оказываются какими-то куцыми, какими-то «публицистами плохой газеты с большим успехом на сегодня», в сущности, людьми совершенно мирными и добродетельными. М. Горький — буржуй, да так ведь и оказалось на деле. Человек богатый, знатный, и если не ездит «на своем автомобиле», то лишь ради старого *renommée* вождя пролетариата... На самом деле все они, и Горький, и Короленко, и Андреев, и Амфитеатров или М. М. Ковалевский, — суть люди буржуазной крови, буржуазного духа, волновавшиеся и волнующиеся потому единственно, что не «они сегодня господа положения», и, собственно, дожидаящиеся, когда подкатит к их крыльцу «автомобиль с гербами» и отвезет их в хорошее министерство и на хорошую должность... Тут ни спорить, ни возражать нечего. Это просто неинтересно. Но Леонтьев?

Моя ж печаль бессмертно тут...
И ей конца, как мне, не будет³.

Он был демоничен, т. е. отрицателен, по отношению к целому фазису всемирной истории, и отрицателен не по чувству, не по складу сердца, а по целому систематическому воззрению на историю, по «идеям» и «мыслям». Это его знаменитый взгляд на «три фазы всякого исторического развития» — первичной простоты, последующего цветущего усложнения и вторичного упрощения, наступающего перед смертью. Взгляда этого никто не поколебал, никто не оспорил — да никто и к разбору его в нашей ленивой литературе не приступал. «Ведь мы занимаемся только Шопенгауэром и Трейхмюллером»⁴. Никакой у нас науки нет, никакой широкой публицистики нет, никакой вообще идейности нет и никогда не было. Иначе о Леонтьеве давно выросла бы не литература газетных статей, а сложилась бы давно уже, за 25 лет после его смерти, настоящая литература книг, целая библиотека книг, исследований, оспариваний, пропаганды. Но мы это делаем только с Трейхмюллером и еще с Дарвином. «Русь-деревня», «мы ленивы и не любопытны», — Пушкин сказал, и на этом надо кончить. «На Руси ничего русского не растет. Растет одна Германия и кой-кто из инородцев». На этом и «шабаш» и «кончено дело».

Учение Леонтьева о трех фазах всякого развития, всякой истории, всякого прогресса, взятое им практически из медицинских наблюдений, из фазисов просто «жизни» и «смерти» под глазами «мудрого врача» и перенесенное затем великими эстетическими порывами и глубокой филантропией, бесконечной любовью к человеку, бьющемуся на земле в узах жизни и смерти, — это учение есть корень «всего Леонтьева», всех его отрицаний и утверждений, его политики и монашества. Он ушел в монастырь «от смерти», видя, что в данную эпоху европейского и нашего развития всюду торжествуют смерть, разложение, какой-то отвратительный гнилостный процесс человека, умирающего «в пневмонии» (его любимый пример) и задыхающегося в мокроте, которую неодолимо и неудержимо выделяют его легкие. Не будь этого самосознания, живи он с теми же самыми мыслями в век Екатерины, и он просто и хорошо прожил бы жизнь, прожил бы ее радостно и весело, без всякого монастыря и без всякого решительного «византизма». Таким образом, Леонтьев, в идейном своем строе, может быть понимаем и истолковываем лишь как человек XIX века — хотя методы и средства борьбы, именно эта его теория, столь же обширная по горизонтали, как, например, обширен дарвинизм, гегельянство («метод

Гегеля») или пессимизм, выносит его за пределы XIX века и соделывает братом всех веков, работником во всех веках, другом всех «благомыслящих» людей. Человек очень небольшого образования, всего только «практикующий медик», он в силу эстетической и политической одаренности, «да и так, почитывая вообще» и заглядывая «во все уголки мира» своим любопытствующим глазом, стал «в разрушающейся Европе», в сем «разрушающемся втором Риме» по обширности и сложности цивилизации, грустным певцом песен, и хочется его сравнить с эллинским не то Ксенофаном, не то Пифагором, который охотнее всего основал бы новый «Пифагорейский союз» с бунтом против демократии и с какими-нибудь эстетически-философскими оргиями внутри самого союза. Но для этого не нашлось Кротоны⁵, он был всего только русским цензором, русским консулом и монахом в Оптиной да вечным должником своих друзей. Но жизнь его в Элладе сложилась бы совершенно иначе; иначе протекала бы она и около византийских автократов. Он ужасно неталантливо родился; родился не для счастья. Но по условиям, но по качествам души он мог прожить счастливейшим в мире смертным, заливаясь смехом, весельем, «безобразиями» (слишком желал) и ни чуточки не помышляя о смерти и монастыре. «Не туда попал». И вся его личность и роль в истории есть личность и роль «не туда попавшего человека». Как-то в молодости, перед прогулкой, я услышал напевец юного юриста «с чрезвычайно строгой последующей деятельностью» на поприще прокуратуры. Оглядываясь, он запел:

Закурил бы — нет бумажки.

Поголять бы — нет милашки.

Вот и у Леонтьева, попавшего «не в тот угол истории», не оказалось в жизни ни «бумажки», ни «милашки»...

А «попадись» — было бы дело другое. Показал бы «наш Леонтьев» (воистину «наш») современникам своим, «как надо жить». Во времена Потемкина, и еще лучше — на месте Потемкина и с судьбою его, он бы наполнил эпоху шумом, звоном бокалов, новыми Эрмитажами и Публичными библиотеками, ну, и уж потом походом на Царьград. Потемкин, Леонтьев, Суворов: воображаю картину.

— Чего вы, Русские, носы повесили? Вам говорят — гуляй!!
Сверху приказание — гуляй!!!

— Ни одного слова о похоронах, о смерти.

Он залил бы таким весельем страну, таким упоением, как «Русь и не видывала». Ах, не в тот век родился! Родился, когда,

действительно, «носы повесились» и все даже на бал стали являться в «похоронных одеждах» (черный фрак и белая грудь).

И вот он стал факельщиком похорон. Но это не натура его, а его историческое положение. Он стал петь грустные песни, как эллинский Ксенофан или Эмпедокл. Он вообще сделался (вот его место в культуре) философом и политиком. Вместо «жителя мира», к чему рвалась его душа, — о, с каким безумным порывом рвалась...

Он стал демоном вместо ангела. Но первоначальная-то его натура — конечно, ангельская: смотри его письма к Губастову, вообще к друзьям. Его письма по чарующему тону, по глубокой чистоте души, по любви «к друзьям» и преданности им — есть что-то не сравнимое ни с какими вообще переписками. Когда я читал много лет назад его письма к К. А. Губастову, я шептал неодолимо: «Какой же это ангел, какой же это ангел». Его старания уплатить какой-то долгишко в 100–200 рублей греку, владельцу лавочки в Керчи или Феодосии, прямо вызывали слезы. Да, «по натуре» это была изумительно благородная и чистая душа, без единого пятнышка притворства, лжи, лицемерия, фальши, гордости, тщеславия. А ведь это почти всеобщие «пятна» на человечестве.

Говорят о его «аморализме» (Булгаков да и все о нем писавшие упоминают об этом, хотя *с его же слов*). Нужно строго оговорить это. Он был один из самых нравственных людей на свете по личной доброте (заботы его о слугах), по общей грации души, по полному и редчайшему чистосердечию. Да и кто *сам* о себе говорит: «Я безнравственен», — наверное, всегда есть нравственнейший человек. «Он — Христов, он — не лицемер». «Безнравственность» его относится, совершенно очевидно, только к любви к разгулу, к «страстям», к «эротике» особенно. Но, если не ошибаюсь, этим грешил и А. С. Пушкин, коего никто «безнравственным» не считает. Дело — бывалое, дело — мирское. «Ну что же, все от Адама с Евой». Вообще следовало бы раз и навсегда и относительно всех на свете людей выкинуть эротику и страсти из категории моральных оценок человека. Есть птицы постные, а есть птицы скоромные. Что делать, если в Леонтьеве жила вкусная индейка, притом которую люди не скушали («мои огненные страсти», «доходящие до сатанизма», — писал он выразительно), и это совершенно точно очерчивает линию его «грехов», по-моему — не-грехов. Сказано же в Апокалипсисе, и сказано благословляюще: «Будет Древо Жизни приносить плоды двенадцать раз в год». Едва ли это говорится только о яблоках и вишнях. «Плод Древа Жизни» и есть плод Древа Жизни, во

всем его неисчерпаемом обилии, многообразии, бесконечности. «Двенадцать раз в год несет плод» — это может насытить самую хорошую индейку.

Итак, философ и политик... Но, «рожденный не в свой век», Леонтьев не прожил счастливую жизнь, а зато он дал меланхолические, грустные, но изумительного совершенства литературные плоды. Торопиться не надо, время его придет. И вот, когда оно «придет», Леонтьев в сфере мышления, наверное, будет поставлен впереди своего века и будет «заглавною головою» всего у нас XIX столетия, куда превосходя и Каткова, и прекраснейших наших славянофилов, — но «тлевших», а не «горевших», — и Чаадаева, и Герцена, и Влад. Соловьева. В нем есть именно мировой оттенок, а не только русский. Собственно, он будет оценен, когда кончится «наш век», «наша эпоха» с ее страстями, похотями и предрассудками. Вот тогда он и вылезет в «заглавную голову», и позади него останутся все «старички», вроде старенького и неинтересного Герцена и уж слишком благочестивых, до утомительности, славянофилов. Леонтьев был именно «пифагореец нового века», вот будущего века, вот грядущего века, о коем хочется сказать: «Эй, гряди скоро!! Приходи, новый хозяин, в дом». Ах, хочется «нового хозяина» в век сей. Все старое решительно надоело и, кажется, прокисло.

Его мышление — именно «новый дарвинизм», «новое гегельянство». Этим я хочу указать, что суть мышления Леонтьева лежит в «методе», а не в определенных его утверждениях, не в частных и не в подробных членах его «веры». Можно не разделять совершенно ни одного его убеждения, совершенно не сходиться с его мыслями; можно отвергнуть даже всю его политику: останется его чудный «эстетический метод». Ах, эта «индейка» была рождена в хороший час «Древа Жизни». Вот куда его и поместим окончательно: Леонтьев был, собственно, певцом и философом «Древа Жизни» — это особая категория и около философии, и около поэзии, и около политики. Нет, его идеи выше несколько ограниченных и несколько условных сфер и политики, и поэзии, и философии. Как бы обращаясь к нам из могилы, он говорит:

«Люди, братья мои. Я прожил весь век в тоске и неудаче. Но я люблю вас и не хочу вам того горя, какого слишком много понес на себе. Вот что: любите жизнь! Любите ее до преступления, до порока. Все — к подножию Древа Жизни. Древо Жизни — новая правда, и это — одна правда на земле. И — до окончания земли. Ничего нет священнее Древа Жизни. Его Бог насадил. А Бог есть Бог и супротивного наказует. Только его

любите, только им будьте счастливы, не отыскивая других идолов. Жизнь — в самой жизни. И выше ее нет категорий, ни философских, ни политических, ни поэтических. Тут и мораль, тут и долг. Ибо в Древе Жизни — Бог, который насадил его для земли. Я со всеми людьми ссорился, потому что все люди не понимают Древа Жизни, разделяясь на партии, союзы, царства, школы, когда всего этого и нет под Древом Жизни, все это оскорбляет собою Древо Жизни. На самом деле и в бесконечности ничего и нет, никого и нет, кроме Бога, благословляющего единое Им насажденное Древо Жизни, коего люди — частицы, клеточки, точки. И они все могут — кроме уныния и тоски. Я был тоскующий человек: но я хотел бы быть последним на земле тоскующим человеком и хоть с неба посмотреть на счастливое и беззаботное человечество, на *зеленое человечество*, с одной только радостью и без всякого дыма, горечи, злобы, злодеяния и отравы. Этого — не надо, воистину — не надо». И в этом «не надо» — «вся церковь и боги и богини на земле».

...Все-таки «лукавый» проговорил бы и о «богинях»:

Покурил бы — нет бумажки...

Ну, простим его и с «богинями». Брат наш, прекрасный наш брат: и да успокоит тебя Господь в «селениях праведных». Ты был поэт, и пророк, и философ на земле своей: и не имел, где преклонить голову.

«Все долгишко в Феодосии греку Манули никак не могу уплатить»: не слово ли это, в простоте и ясности забот своих, не то Закхея⁶, не то Симона Киреянина⁷. Он был какой-то «христианин» вне «христианства». Потому что, кажется, в христианстве не подобает быть «богиням». А Леонтьев «без этого не мог» по «своей потемкинской натуре».

